

МИРЧА ЭЛИАДЕ

СВАДЪБА НА НЕБЕСАХ



ТОТЕНБУРГ

МОСКВА 2025

УДК 7.046
ББК 82.3(0)
346

***Все права на книгу находятся под охраной издателей.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена
каким-либо способом без согласования с издателями.***

Перевод с румынского — Юлия Горноскуль.

Редактор — Александра Кишиневская.

Элиаде М.

346 Свадьба на небесах — М.: Тотенбург, 2025. — 208 с.

Роман «Свадьба на небесах» был написан Мирчей Элиаде во время лагерного заключения в 1938 году. В основу романа легла идея о совершенной любви и воссоединении двух полов в священном, «небесном» браке. Но возможно ли сохранить предначальную любовь в потоке времени? Возможен ли божественный андрогинат в профанном мире? Или человек обречен вновь и вновь падать, теряя свой Рай?

С предельной откровенностью Мирча Элиаде рассуждает о судьбе, об эросе, о многочисленных оттенках взаимоотношений между Мужчиной и Женщиной. «Свадьба на небесах» затрагивает темы, которые в наше время актуальны как никогда.

Роман сопровождается трактовкой от переводчика Юлии Горноскуль.

УДК 7.046
ББК 82.3(0)

© Юлия Горноскуль,
перевод с румынского

© Издательство «Тотенбург», 2025

СОДЕРЖАНИЕ

I.....	7
II	20
III	33
IV	44
V	55
VI.....	66
VII	78
VIII	91
IX.....	104
X	114
XI.....	126
XII	140
XIII	150
XIV	161
XV	171
XVI.....	181

Юлия Горноскуль

Трактовка романа «Свадьба на небесах»	186
---	-----

*Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно,
тогда же лицом к лицу;
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю,
подобно как я познан.*

1Кор. 13:12

— Бывало, в пору ранней юности я мог мельком глянуть на лицо прохожего и задуматься: а что, если бы он был моим отцом?.. Вообразить это было нетрудно: его зовут, конечно же, Андрей или Север — эти имена казались мне наиболее подходящими для моего отца, а для мамы — Мария или Сабина. На самом же деле мою мать зовут Арефуса, а отца — Иоан, хотя друзья называют его Иеникэ. Мама зовет его Нелу, и это мне тоже не по вкусу... А вот незнакомец мог бы быть моим *настоящим* отцом, таким как я себе его представлял, типичным героем романов: мужчина с седыми висками, от которого едва уловимо пахнет одеколоном, суровый на вид, но с добрым взглядом; подтянутый, ироничный и элегантный, заядлый читатель французских моралистов. Разумеется, это был один из идеальных типов отца.

Иногда я мечтал, чтобы мой отец был знаменитым медиком, или капитаном судна, или крупным промышленником. Маму я представлял себе гораздо проще: либо врачом, либо художницей; хотелось, чтобы она писала картины, чтобы ходила по дому в белом халате с засученными рукавами... Одно время, подростком, я даже хотел, чтобы мать у меня была итальянкой, а отец — англичанином. Но это уже совсем другая история... Я просто хочу сказать, что эти грезы преследовали меня на протяжении отрочества и первых лет юности. И теперь такое нет-нет да случается, пусть все реже и реже. Порой, чаще всего в поезде, я разглядывал своего попутчика и представлял себе, что передо мной мой отец. Конечно, он был не таким, как мне хотелось, как я воображал сотни раз в мечтах; по крайней мере, не всегда. Однако он *отличал-*

ся от моего настоящего родителя, и ведь я мог бы *быть* его сыном, родиться у другой матери, иметь других братьев и сестер, жить в другом доме, в другом городе. Все могло быть иначе. Вот эта мысль не шла у меня из головы: что все могло случиться иначе или вообще не случиться; что все в этом мире — случайность, никчемная бессмыслица. Когда я проходил по предместьям, мимо обшарпанных халуп за частоколом, мимо палисадников, густо засаженных мальвами и выюнком, то представлял себе, что родился здесь, и буквально видел, как я хожу с другими неграмотными ребяташками в местную начальную школу, как читаю при свете керосиновой лампы в комнатке, выкрашенной в розовый цвет... Или что я родился в каком-нибудь земском городе, в одной из барских усадеб за поржавевшей оградой, где сад украшают пестрые фигурки гномов и искусственный пруд... После таких блужданий по незнакомым улицам я почти всегда возвращался домой безрадостным, с грустью на сердце...

Пожалуй, все это мало касается того, о чем я хотел рассказать, — продолжал Мавродин. — Но торопиться нам некуда. А еще, как мне думается, среди этих воспоминаний я найду ключ к главным событиям. Может, мне кто-то когда-то подал знак или нечто подобное... Иначе страшно предположить, что при всей совершенной гармонии космоса только жизнь человека отдана на волю случая, а судьба не имеет смысла... Иной раз я задаюсь вопросом: в тот самый день, когда я влюбился, не происходило ли *что-то* еще — *что-то*, чего я не заметил, не понял — в общем, упустил из виду. Ты понимаешь, что что-то *произошло*, но где искать начало? Когда один мой друг женился, я беседовал с ним всю ночь напролет, пытаюсь понять, как он к этому пришел, что заставило его сделать этот шаг, на какие нормы он опирался, какие страсти им руководили. Честно сказать, я мало что понял...

— Никто этого не понимает, — перебил его Хаснаш. Голос его вдруг прозвучал рассудительно, почти что торжественно. Широко расставленные глаза поблескивали в сумерках.

— Никто, — отчеканил он. — Все это происходит независимо от тебя. Все, о чем нам говорили, любовь, деньги, интересы, — все это ерунда. Ни один мужчина не станет закладывать себя ради чувств или денег. Это не так просто объяснить, что бы ни говорили о мужчинах, сколько бы среди нас ни было дураков. Нет, здесь что-то сверхъестественное, не любовь и не страсть, а именно какое-то помешательство, что затмевает наш разум...

Он вдруг замолчал — так же внезапно, как и заговорил. Будто бы силился припомнить что-то крайне важное, отыскать подходящее слово. Мавродин выждал несколько секунд, затем продолжил:

— Ты судишь об этих вещах так же, как и я, — с высоты своего богатого опыта...

— В этом мы все единодушны, дорогой мой друг, — ответил Хаснаш. — Женщины иногда насмеются над нашей безусловной солидарностью. Но правда в том, что *здесь* мы все чувствуем одинаково. Даже те, кто едва может это объяснить.

— Конечно же, это судьба, — торопливо, будто боясь потерять нить повествования, проговорил Мавродин. — Это судьба, одна из множества других судеб... Сколько раз я пытался осмыслить судьбу, в особенности те случаи, когда человек заведомо обречен на страшную, бесславную участь. Когда я полюбил ее, то стал задаваться вопросом: не снилось ли мне что-нибудь знаменательное накануне? А может, в глаза мне бросилась какая-то деталь во время нашей встречи? Например, я очень хорошо помню: перед уходом она опустила на лицо длинную черную вуаль — и как же это было соблазнительно! От нее едва уловимо пахло духами “Ambre antique”.

Но это произошло спустя несколько часов после того, как я уже полюбил — сам того не зная.

Я встретил ее у одного из своих друзей, состоятельного архитектора, любителя устраивать вечеринки. В один из серых зимних дней, когда я мог заниматься чем-то другим, в часы, когда я обычно бывал дома... 8 января — я точно помню дату. Мне наскучила однообразная череда праздников; я был без настроения, и одна мысль о том, что нужно идти в гости, уже действовала мне на нервы. Но я пообещал, отказаться было неудобно. И я решил зайти на час, не больше...

Той весной, когда я умирал без нее, умирал от любви, я часто пытался вспомнить тот день, 8 января, вспомнить его по часам. Во что я был одет с утра, какие книги брал с полки, читал ли какую-то газету, звонил ли мне кто-то еще, помимо Александру. Ведь если бы я тогда внимательно просмотрел газету, то на глаза бы мне попала реклама нашумевшего фильма, и тогда бы я сначала пошел в кинематограф, а уже потом к Александру. Тогда бы я опоздал, а Ильяна могла уйти еще до моего прихода, и мы бы не пересеклись. А если бы я случайно встретил ее в другой день, то уже не было бы того волшебного вечера 8 января; может, потом либо она нашла бы себе кого-то другого, либо я... Все могло сложиться как угодно... Бывает, чаще всего в поезде, я внимательно разглядываю лицо своей попутчицы и задаюсь вопросом: а что, если бы в некий день, в некоем месте, в некоем городе я бы узнал, что вот эта женщина станет моей супругой или, как говорится, большой любовью? И тогда я со страхом вглядываюсь в ее лицо: какой была бы наша с ней жизнь? Я совсем не думаю о ее теле: ведь тело легко познать, легко и забыть. Нет, я размышляю о ее близости, о ее тайных чарах. Один день, сто дней, десять лет с этим прекрасным (или не очень) созданием, с этой девушкой — светловолосой, высокой, ка-

кой бы она ни была, — но каково было бы находиться бок о бок с ней, под одной крышей, день и ночь, и так всю жизнь?! Как бы я ощущал ее чары? Как бы меня дурманило ее присутствие?.. Стоит мне полюбить женщину, как она начинает меня подавлять, душить, причем неосознанно, и в конце концов полностью разрушает меня, растворяет. Мужчине этого не избежать... Однако меня волнует такой вопрос: каким бы было для меня это сладостное, плодотворное страдание? Каким бы я покинул этот мир? Дегradировав в затяжном саморазрушении — или, наоборот, принеся величайшую жертву?

Мавродин замолчал, тяжело дыша. Зажег папиросу и несколько секунд смотрел, как горит спичка, как огонек почти касается ногтя. И отбросил ее щелчком, по-прежнему весь в мыслях.

— ...Я толком не помню тот день. Меня встретила супруга Александру — она корила меня за то, что я пришел так поздно. В гостиной услышали мое имя, и несколько голов повернулись к двери. Незадолго до Рождества вышла одна из моих самых популярных книг, «Юность Магдалины». Сказать по правде, я не тщеславен и не люблю, когда мне слишком настойчиво твердят о моих литературных достижениях. Я еще молод, и помимо писательства мне есть чем гордиться. Мне не особо приятно, когда мною восхищаются. Да, это настоящее, искреннее чувство, и я точно так же восхищаюсь другими людьми, в частности, художниками и писателями. Но когда дело касается меня, то я предпочитаю не знать, не чувствовать этого...

Я вошел в гостиную совершенно без настроения. Разговор, скорее всего, пойдет о моей книге. Хозяин почувствует себя обязанным сменить тему беседы и заговорит о литературе, расскажет о новинках в библиотеке, а потом — о моем произведении. Судя по многочисленным письмам и звонкам, моя «Магдалина» очень нрави-

лась публике. Разумеется, мне это было приятно, но на расстоянии. В кругу читателей, а особенно читательниц, я смущался. Всем им мнится, что раз они прочли мою книгу, то теперь что-то обо мне знают; они уверены в том, что какие-то вещи я писал с самого себя, что многие события происходили на самом деле. И они ждут встречи со мной, чтобы подтвердить свои впечатления, а потом дать мне оценку...

С таким чувством я вошел в гостиную, готовясь достать портсигар, чтобы занять чем-то руки... Это была вытянутая комната с низким потолком; возле окна стояло массивное черное пианино; оно было открыто. Уже вечерело, но по прихоти хозяев ламп не зажигали, только один ночник светил в углу. В конце комнаты стояла рождественская ель с зажженными огоньками. Все это я помню кристально ясно. И вот на фоне всей круговерти, среди силуэтов, движений, огней, я вдруг совершенно отчетливо увидел руку Иляны — белую руку с длинными полупрозрачными пальцами. Я увидел ее руку прежде, чем лицо и глаза. Видимо, до этого она опиралась на пианино, а в момент, когда я вошел, она медленно скользнула ладонью по крышке. Пальцы показались мне удивительно живыми, словно только они и были по-настоящему живыми среди всей этой бурлящей суеты. И было еще кое-что, еще одна деталь, которая потом долго меня преследовала: ее рука показалась мне голой. Эти трепетные, полупрозрачные пальцы были словно созданы для того, что носить кольцо... да, им не хватало кольца. Это была непорочная рука, девственная, монашеская...

Я разглядел ее не сразу. Ко мне устремились несколько барышень с намерением расспросить меня о каких-то пустяках. В следующий миг я почти забыл об этой напоенной жизнью руке, которая мягко скользнула по пианино. Когда же нас с Иляной представили друг другу, меня ничего не осенило, не озарило. Она не показалась

мне особой красавицей, может, потому что она была почти не накрашена, а комната едва освещалась мутным светом свечей. Я помню — и в дальнейшем я не раз говорил ей об этом — что меня поразила едва уловимая усталость в ее взгляде. Это была не усталость от прошедшего дня и не упадок сил после долгой болезни или череды неприятностей, а та почти ироничная усталость, которая со временем проступает в глазах умной женщины. Да, она не впечатлила меня красотой, но, отойдя на пару шагов, чтобы поклониться одной пожилой даме, я вдруг осознал, что разглядел ее плохо, невнимательно — и мне захотелось опять подойти к ней, посмотреть на ее лицо в упор, чтобы запомнить. В следующие минуты я незаметно этим занимался. Она беседовала с подругой, опустив голову. У нее был высокий лоб и слегка выпуклые виски, а темно-каштановый цвет волос делал ее на вид строже. Затем я осознал, что меня побудило вернуться к ее лицу: огромные глаза с поволокой и широкий, яркий рот.

До меня донеслось, как подруга назвала ее по имени — Ильяна. Ей не шло это имя. Да, ее звали Ильяна, а одета она была так, как будто носила другое имя, например, Мария или Лючия — в черно-белую блузку с белым воротничком и узкими рукавами. Я опять перевел взгляд на ее руку. Она наверняка никого не любит и ее тоже никто не любит, сказал я себе. Ведь для полного совершенства этой руке нужен всего один штрих — кольцо. Кем надо быть, чтобы не понимать этого? Значит, даже если у нее кто-то есть, то ему нечего предложить женщине с таким именем. И все же я хорошо расслышал: ее звали Ильяна. Я видел, как она поднялась и прошла в другую комнату. Она была не очень высокого роста, хрупкая, со стройными бедрами. Ноги у нее были длинные, с поджарыми икрами. Я не стал смотреть ей вслед, чтобы оценить фигуру, я никогда не смотрю так на женщин. Я всегда любезен к ним и ожидаю увидеть то, они

сами хотят мне показать. Мы не виноваты в том, что большинство женщин постоянно предстают перед нами распутными, скучными или увядшими. На женщину, которая бесстыдно подчеркивает свои изгибы, будут смотреть соответственно. Сам объект нам показывает, каким взглядом на него смотреть, какую оценку ему дать. Нельзя обвинять в непристойности мужчину, пожирающего глазами тело кокотки. Именно женщина побуждает нас смотреть на нее так, как хочет она сама...

Почему-то я был в полной уверенности, что эта женщина не одна. У нее непременно должен быть спутник, супруг — здесь или за рубежом. Не знаю, почему, но мне казалось, что она должна быть в отношениях, в паре с кем-то. Так странно...

Он вдруг замолчал, улыбаясь. И резко повернулся к своему собеседнику.

— Конечно, я не стал расписывать все это в книге. Редко когда удастся перенести реальные события на бумагу и быть искренним до конца ...

Да, было заметно, что эта девушка точно создана для союза, для брака. Я не понял, сколько ей лет; в любом случае она не была совсем уж молоденькой; на вид ей было около тридцати или, может, даже чуть больше...

Я все не мог оторвать от нее глаз, и мне стало не по себе. Еще подумают, что я открыт для новой интриги! Впрочем, меня никогда не прельщали легкие победы, я не голодающий, который готов потребить что угодно. Просто мне не хотелось, чтобы кто-то заметил мой интерес — молодой романист не спускает глаз с незнакомки... Было бы неловко. Любое проявление галантности в тот вечер было бы двусмысленным. Поскольку я пришел сюда сразу после выхода новой книги, как именинник, предполагалось, что мне никто ни в чем не может отказать, а тем более, незнакомая женщина. Создавалось такое впечатление, что все мне чем-то обязаны, что хозяйева отдали об-

ший приказ ничем меня не расстраивать, даже взглядом — обычно так ведут себя с министрами или другими высокопоставленными гостями. И было бы несказанно пошло принять эту ситуацию или воспользоваться ею... Однако, поскольку я тебе выкладываю все начистоту, я продолжу. Некоторые вещи мы держим в тайне, но в моем случае профессия писателя имеет свои неудобства. Не знаю, как обстоит дело в других странах, но у нас люди до сих пор не научились разговаривать и вести себя с писателем. Его воспринимают как одно целое с его произведениями и донимают тем, что беспрестанно льстят или напоминают о том, что *он* написал такой-то роман, выдумал такую-то героиню, сформулировал такой-то афоризм. Просто ужасно — это то же самое, как обсуждать с хирургом только проведенные им операции и постоянно напоминать ему о том, как он спас от смерти такую-то барышню. Или пригласить на обед тенора и говорить с ним исключительно об опере, а на десерт попросить спеть его любимые арии — и насвистывать их, напоминая, о каких именно идет речь...

Я прошел в другую комнату, чтобы присоединиться к разговору, начатому задолго до моего прихода. Помню: какой-то майор в штатском говорил о чемпионате по лыжным гонкам. Когда я вошел, один юноша прижался к стене, освобождая мне место. Это подействовало мне на нервы; я отвернулся, чтобы не видеть его напряженного лица. Но остальные здесь вели довольно заурядный разговор о зимних видах спорта. Общий язык я мог найти только с юношей, что вжался в стену — а он оцепенел, потому что автор книг, которые он читал и которые ему наверняка нравились, чудом оказался вблизи, с папиросой во рту, в аккуратно завязанном галстуке, свежесбритый и настроенный на легкую беседу. Я попытался с ним заговорить. Он ронял односложные ответы, держась крайне скованно — видимо, известный писатель привел его

в ступор. Ему нужно было любой ценой напустить на себя интеллигентный вид, чтобы маэстро не подумал, будто перед ним какой-то заурядный читатель...

На самом деле мой юный друг был великолепным читателем. Но в силу своего возраста — девятнадцать лет! — он не мог с собой совладать. Может, в иной раз я бы помог ему прийти в себя. Иногда мне нравится наблюдать подобный цепенящий восторг — я и сам не раз его испытывал, и теперь, глядя на других, могу измерить расстояние между нынешним мною и той невинной порой ранней молодости. Однако в тот вечер у меня не хватило на это терпения. Не то чтобы я горел желанием хоть как-то пообщаться с незнакомкой, которую я несколько минут назад выделил по одному взмаху руки из всей массы гостей. Нет, мне просто хотелось устроиться с кем-нибудь в уголке дивана и спокойно побеседовать. Я оглянулся в поиске знакомых лиц. Здесь были всего несколько моих приятелей, в весьма приподнятом настроении — они задерживались в столовой, а также несколько девушек, которые поглядывали на меня издали с напускным безразличием. Архитектор без устали подбирал пластинки для граммофона. Он был прекрасным хозяином; ему вот-вот должно было стукнуть сорок, он уже начал лысеть — и потому старался изо всех сил казаться легким и игривым, балагуром и неутомимым танцором. Он танцевал со всеми девушками подряд и подбивал нескольких студентов, сокурсников его сестер, говорить с ним на «ты». А ведь этот мужчина был очень талантливым архитектором с острейшим умом. Такое впечатление, что неотвратимая старость страшит всех, даже наилучших из нас. Думаю, это многое объясняет...

Он опять замолк, чтобы не спеша прикурить папиросу. Хаснаш вытянулся в шезлонге и задумчиво поглаживал себя по колену, будто вовсе его не слушал. Но при этом Мавродин все ярче ощущал его присутствие, ощущал себя

в его власти, словно этот человек в тени побуждал его говорить дальше, выкладывать все быстро и без утайки.

— Конечно, в книге я излагаю все несколько иначе. Там я описал более романтическую встречу, тоже 8 января — этого я никак не мог скрыть — но в Предяле, на вилле общих друзей, которые съехались покататься на лыжах. Мимоходом замечу, что это не так уж далеко от истины. С тех пор мы несколько раз были вместе в Предяле, и она хорошо катается на лыжах, она научилась этому в Германии, когда работала там... Я узнал об этом через несколько часов, когда мы с ней познакомились поближе. Выяснилось, что примерно четыре года назад она уехала из страны и работала в Берлине, в румынской дипломатической миссии. Теперь я знаю, что она настояла на том, чтобы работать там. Но все это я узнал впоследствии... Эта встреча в Предяле, которую я описал в книге — теперь мне кажется, что она тоже произошла на самом деле. Мы провели там зиму. Я знаю, как она шнурует свои ботинки для лыж, и мне нетрудно представить, как она подходит ко мне, как в романе, и просто говорит: «Погодите, вы не так завязали шнурки...»

На самом деле, ее первые слова в мой адрес прозвучали в столовой моего друга-архитектора. Она сказала что-то обыденное, что-то вроде: «Хорошо, что эти праздники закончились...» Но вот что меня зацепило: произнеся эту банальщину, она бросила взгляд в окно, на заснеженную улицу в зеленоватом свете фонарей. И в этом взгляде было столько тоски, что мне показалось откровенно пошлым спрашивать ее о чем-то еще. Я сделал вид, что не заметил этого взгляда — грустного, утомленного, чуть ли не в слезах. И как же хорошо я потом его изучил, как томил меня неугасаемый жар этого взгляда, когда я уже вник в его смысл: вот и подошли к концу очередные зимние праздники, очередное студеное Рождество во мгле пролетевших годов, а она по-прежнему одинока, по-

прежнему далека от гавани, о которой грезит вот уже столько лет... Но, наверное, не стоит приплетать сейчас эти подробности. Мы поговорим о них позже...

Я надеялся, что она спросит что-нибудь о моих книгах, в частности, о «Юности Магдалины» — это название было у всех на устах. С ней я бы охотно обсудил свое творчество. Не потому, что она была женщиной и, возможно, начинала мне нравиться, а потому, что я чувствовал: она живая, с головы до пят, живая, умная, меланхоличная...

Обычно мне не нравятся грустные люди, а уж тем более грустные женщины. Большинство из нас грустит по поводу и без повода. Мы грустим из-за того, что провалили дело, у нас отказала печень или мы потратили целую ночь на вечеринке, или просидели в библиотеке. А у женщин все еще плачевнее. В целом женская грусть довольно заурадная... Однако в тот час Ильяна была грустна волнующе сдержанной грустью. Она устремила печальный взгляд вдаль, в окно — и сложно было поверить, что это все та же женщина, что ее лицо только что светилося умом и даже легкой иронией. Она не читала моих книг, не читала даже «Юность Магдалины» и догадалась, что это вызвало у меня досаду. Тогда она начала меня поддразнивать. Но в дальнейшем она обнаружила в моем творчестве тайного и очень искусного соперника. Тогда мы проводили много времени, лежа в обнимку, сплетаясь телами; она клала мне ладонь на лоб, и я угадывал в ее ласке нечто большее, чем просто касание: угадывал ее невысказанные вопросы и попытки проникнуть в ту область, которую ей не могли открыть ни страсть, ни экстаз.

— О чем ты думаешь? — спросила она меня однажды с ироничной усмешкой, прекрасно зная, что я никогда не смогу ответить искренне. — Что ты здесь скрываешь? — настаивала она, прижимая свою маленькую белую руку к моему виску.

Не думаю, что ее возмущали мои мелкие фrivольные секреты или она боялась, что я поглядываю на краси-

вых женщин. Нет, ее точила мысль о тех катакомбах, в которых я обитал совершенно один, об уединении, питавшем мою отрешенность и творчество...

Однако тогда она еще не читала ни одной из моих книг. Я точно не помню, о чем шел разговор. Но в гостиной становилось все жарче, зажгли лампы, нас пригласили в другую комнату выпить по бокалу шампанского, и мне вдруг страстно захотелось потанцевать с этой женщиной. Ее уже не было рядом. До этого я беседовал с ней так долго, что хозяин шутливо одернул меня несколько раз. Но я еще ничего не осознавал. Флирт; несколько часов пылкой, приятной беседы; в лучшем случае новая связь.

Она ушла, и я почувствовал, как меня наполняет жгучее желание ощущать ее рядом, в танце. Озираясь, я искал ее глазами. Она ушла выпить лимонаду. Наконец я увидел ее возле буфета. Ильяна как будто почувствовала мой взгляд. Она беспокойно потерла лоб и подняла голову, медленно, с улыбкой, будто зная, что встретится со мной глазами, что увидит меня там, на пороге. Ломаным жестом я пригласил ее на танец. Она ответила мне знаком, что устала. Я направился к ней. Она смотрела, как я приближаюсь, и внезапно ее лицо стало строгим, сосредоточенным, будто в моих движениях сквозила некая тайна — тайна, которую она разгадала и испугалась. Я подошел, и она растерянно прислонилась к буфету. Я не понимал, что со мной происходит. «Это все из-за шампанского...» — твердил я про себя. Отчетливо помню: когда я уговаривал ее на танец, она потянулась, чтобы убрать стакан с лимонадом на полку, и я снова увидел ее руку. Вид этой совершенной в своей белизне руки навевал на меня страх. Я коснулся ее пальцев — очень учтиво, почти умоляюще. По ее взгляду я понимал, что ей тяжело отказать, что она тоже борется, тоже боится. В тот момент, когда я взял ее за руку и слегка приподнял ее, чтобы привлечь Ильяну к себе, музыка стихла. И я замер на миг, сжимая ее ладонь в своей.

Я давно не помню вкуса всех тел, которые познал. Почти у всех мужчин так: у нас не остается жарких воспоминаний, мы не можем сохранить и частицы от магии плотской любви. Думаю, женщины забывают гораздо тяжелее; их тела еще долго хранят в себе след мужчины, которого они когда-то узнали или любили. Однако в жизни каждого мужчины случается чудо, которое длится всего несколько мгновений: встреча взглядов, поцелуй, ни с чем не сравнимое прикосновение. Будто бы завязывается новая нить: пробуждение в ином мире, таинственное — и в то же время естественное проникновение в неведомую сферу. Я толком не знаю, как это выразить, но, думаю, каждый мужчина в этот миг чувствует, что с ним происходит нечто новое, дивное и грандиозное... И это еще не любовь, не волнение, не трепет плоти. Сколько женщин поражают нас своим неутолимым желанием, но при этом не дарят этих мгновений сладостного страха и самозабвения?..

Кажется, я теряю мысль... да, я нескладно говорю о вещах, которые очень даже мне понятны, но мне нравится рассуждать о них так бессвязно. Это меня расслабляет и дает передышку. В своей книге я несколько раз пытался описать то чудесное состояние, особенно первое соприкосновение наших тел, когда ее ладонь одурманенно повисла в моей. Думаю, мне не удалось. Мне недостает глубокomyслия, чтобы уметь описывать такие пограничные состояния. Естественно, о любви тогда не было и речи. Но это было больше, чем восторг: это было потрясение, в котором мне вдруг открылось чужое тело, чужое присутствие. Как мало выражают все эти слова, старые, избитые, затасканные... Но любовь пришла позже, любовь

началась, как только эта колдовская сила смогла нас обособить и спаять воедино. Потому что, конечно же, наш телесный союз был скреплен в тот затяжной миг, когда я подобрал ее всю целиком, всего лишь держа ее руку в своей. Эта призрачно-бледная, трепетная, столь чужеродная в своей наготы рука, вид которой завожил меня, стоило мне войти в гостиную, теперь передавала мне какой-то женский жар, какое-то поразительное возбуждение, которое медленно заполняло все мое существо. Может, я бы и встряхнулся, чтобы развеять этот навязчивый дурман, потому что я все это время держал в уме, что нахожусь среди чужих людей, что они смотрят на нас удивленно или насмешливо, — но выпустить руку Иланы было выше моих сил. Я даже не сжимал ее, просто держал на весу, а она застыла в моей ладони...

Думаю, ей удалось прийти в себя первой. Наверное, нас заметили довольно много гостей, а кто-то даже отпустил шутку-другую. Я осмелел, как настоящий завоеватель. Это я осознал уже впоследствии, когда нашу любовь и связь почти все приняли как должное... Но, конечно, все это мелочи... Она легонько сжала мои пальцы и убрала руку. Это произошло спустя секунду... или несколько минут? Я так и не понял, и ни разу не спрашивал ее; полагаю, она тоже этого не знала. Мы очнулись вдвоем у буфета, зажатые там гостями, которые толпились у дверей. И снова провал, как в тумане, который я помню очень смутно. Но я уверен, что весь мой разум, вся моя гордость, воспрянув на несколько мгновений, усиленно пытались меня остановить, уберечь, обуздать. Иначе и быть не могло... Но я ничего не помню. Меня знобило, как в горячке; чужая тайна проникла в мою плоть, ведь в этом пожатии не было ни желания, ни вожделения... До того момента я считал, что уже любил, и подозревал, что не остановлюсь на первой любви, пережитой мной в двадцать лет, что моя жизнь будет протекать в средото-

чий огня страсти. Но позже выяснилось, что я толком и не знал, что такое истинная любовь, подлинная страсть и совершенный союз. Прежде я не знал такого всепоглощающего восторга.

Еще я помню, как мы вдвоем очутились в соседней комнате, где стояло пианино и рождественская елка. Наверное, нас туда вытеснили — гостей было много. Стоило нам опять оказаться друг напротив друга, как я заметил, что ее огромные глаза с поволокой увлажнены, а в глубине мерцают жгучие всполохи. До этого ее взгляд был другим. Я заметил, что он меняется ежечасно, быть может, потому что я еще не умел на нее смотреть. Вообще, это самое сложное — уметь смотреть в глаза любимой женщине. Порой наш взгляд так неумело бьет по зеркалу любимых глаз, что сотрясает его, затуманивает. Или, что хуже, делает глаза непрозрачными, придает им керамический глянец, эмалированный блеск. А есть и яростные взгляды, которые рвут сетчатку, зверски пронзают ее, раздирая в кровь, или омрачают... Не знаю, как лучше объяснить все эти тонкости — теперь они имеют для меня трагическую значимость, а тогда все это казалось нам наивным, пустячным. Но меня не покидает мысль о том, что, умей я смотреть в глаза женщине определенным образом, вся моя жизнь сложилась бы иначе... Общеизвестный анекдот про нос Клеопатры кажется мне грубым¹. Гораздо печальнее сознавать, что ты волен смотреть или не смотреть на что-то, ощущать или игнорировать чье-то присутствие, чье-то тело — и от этого зависит вся удача...

Я останавливаюсь на этом так подробно, потому что любовь и все, что она несет с собой — горести, жертвы и расцветы — кажется мне все еще самым малопонятным и малоизученным явлением. Каким чудом рядовое событие

¹ Вероятно, имеется в виду выражение Паскаля: «Будь нос Клеопатры чуть короче, весь облик мира был бы другим». — Здесь и далее примечания переводчика.

превращается в экстаз и восторг, а встреча — в любовь? Этот вопрос не дает мне покоя. Как и другой вопрос: как можно отпасть от этого благодатного состояния, вернуться в однообразный мир, к будничной жизни?..

Взгляд Иляны больше не поглощал меня, не захватывал дух. Наоборот, во влажном блеске ее глаз проскользнул озорной огонек.

— Тебе не кажется, что неприлично так меня разглядывать? — спросила она тихо.

И попыталась принужденно улыбнуться, стряхнуть чары, в плену которых она тоже находилась все это время. Но ничего не вышло. Качнув головой, она прошептала:

— Ну гляди, гляди...

Естественно, я начал что-то говорить. Но при этом чувствовал безнадежное желание снова взять ее за руку. Не знаю, почему мы больше не танцевали; наверное, все гости ждали, когда снова подадут шампанское. Помню, что хотел найти предлог, чтобы вновь коснуться ее руки, но на ум ничего не шло...

Потом мы вдруг слышали музыку. Мы оба резко поднялись, одновременно, глядя друг другу прямо в глаза. Я обхватил ее почти неосознанно, даже не представляя себе, что это дивное прикосновение может повториться. Но из того, как она просто, вся целиком скользнула в мои объятия, я догадался, что мы оба томились одним и тем же ожиданием, что нас тянуло друг к другу...

В некоторых состояниях перестаешь чувствовать время. Не знаешь — или не помнишь — когда что началось, что именно дало толчок, как все развивалось.

И все же из этого сумбурного блаженства иногда выделяется некое слово, возглас, мелодия или хотя бы одна музыкальная нота, которая совершенно естественно звучит на общем фоне. Из начала танца мне запомнилось единственное слово — «пара». Не знаю, было ли оно произнесено вслух или просто звучало в моих мыслях, не

знаю ничего, кроме одного: *то*, что внезапно произошло со мной, через простое объятие, и есть «пара»...

Мавродин утомленно замолк, будто у него иссякли силы. Долгое время он смотрел пустым взглядом в небо, почти не дыша, словно прислушиваясь к чему-то. Холодало, и Хаснаш натянул на плечи одежду. Но он не спросил, холодно ли его собеседнику. Просто ждал, когда Мавродин заговорит опять, тихо поглаживая ладонью край шезлонга и все больше погружаясь в собственные мысли...

— Думаю, что этот момент был наивысшим открытием во всей нашей любви, — торжественно начал Мавродин. — Все, что последовало за этим, было попытками заново обрести эту вневременную очарованность... Танцор из меня так себе, поэтому я постоянно разговариваю во время танца, чтобы замаскировать сбивчивый ритм своим интеллектом. Я прекрасно понимаю, что женщина может насладиться танцем с несовершенным партнером, если тот не глуп как пень. Неловкость, как и застенчивость, по-своему обаятельна благодаря ее сюрпризам и наивной панике... Женщинам порой очень нравятся такие несовершенства, и они никогда не страдали из-за моих танцевальных способностей. Затем я позабыл обо всем, что знал и испытывал прежде. Помню лишь, как моих ноздрей коснулся незнакомый аромат, когда она склонила голову к моему плечу. Он был не женским и даже не человеческим. Скорее он был соткан из каких-то восточных образов: в нем ясно звучала нота древнего золота, благоухание чеканных курильниц и запах душистых кореньев с капелькой масла. Духи с чистым запахом старых металлов и трав, никаких тяжелых масел или спирта... Сколько раз потом я пытался определить для себя аромат ее волос! Но он словно утратил ноту той почти что аскетической чистоты, которую я услышал тем вечером. Ее и вправду не вернуть, ведь с тех пор моя память, обоняние и осязание, связали этот запах, такой благочести-

вый, строгий, с ее телом, которое я познал, с ее губами, что тянулись мне навстречу...

Я с изумлением обхватил ее за необычайно тонкую талию — и ощутил рядом с собой всю ее одушевленную «форму». Я должен сказать слово «*форма*», уж прости мне это неуместное, а то и пошлое слово. Но я не чувствовал ни плоти, ни тепла, ни даже ее телесного присутствия. Я лишь интуитивно чувствовал женщину — как она есть целиком и полностью — и ничего больше, не ощущая при этом, что касаюсь ее бедра, например, или слегка прижимаюсь к ее груди. И никаких частичных, обрывочных касаний, как обычно во время танца. Я ощущал эту безупречную форму всецело, непрерывно и нераздельно...

Тебе может показаться, что все это расцвечено воспоминаниями и расшифровано свежим взглядом, издалека — и вблизи, как это всегда бывает, когда с длительным усилием воскрешаешь в памяти событие или давно ускользнувший образ. Но нет, здесь не хватало усилий, чтобы что-то прояснить. Я не смог ни сохранить, ни восстановить в памяти всю полноту ее присутствия в том танце. Сейчас я только озвучиваю отрывки, которые накрепко засели у меня в голове... Просто перебираю их, вот и все. Мы танцевали вполне спокойно. Говорю это, чтобы ты не подумал, будто наш танец был эксцентричным или настолько необычным, что все гости расступились в изумлении. Нет, нашу тихую растерянность заметили лишь немногие. Остальные перемещались по залу, танцевали, беседовали. Мы с ней не разговаривали. В этом не было нужды. Я поглядывал на ее лицо в свете ламп. Оно совершенно преобразилось. Строгая сосредоточенность разгладила ее черты, сделав их безупречными; на лбу выступила легкая испарина. Она тоже посматривала на меня — в этом я уверен — и ее взгляд проходил сквозь меня, словно его влекла некая незримая, тайная и неведомая мне цель. В ее сдержанном трепете чувствовался сильный страх. Она не

дрожала в моих объятьях, но я чувствовал, как напряжено ее тело... Позже я понял, как сильно она боялась меня и пыталась защититься. Тогда она догадалась обо всем, что произойдет, и изо всех сил противилась чарам...

В последние дни я почему-то вспомнил тот нескончаемый танец в деталях. Перед глазами снова возникла та гостиная с мебелью, которую сдвинули к стенам, чтобы освободить побольше места для пар... снова возникли картины соседнего дома, присыпанные свежевыпавшим снегом — в свете из окон он мерцал сапфировым блеском... Ильяна легонько клонила голову, одурманенная блаженством и сладкой истомой. Когда музыка стихла и я взял ее за руку, чтобы отвести в самую дальнюю и укромную комнату, она призналась, что страшно устала. Под глазами у нее темнели круги, отчего взгляд казался еще более глубоким. Я едва решался на нее смотреть, но не отпускал ее руки.

— Не знаю, что такое, — прошептала она, откидываясь на спинку дивана. — Я давно не танцевала... Кажется, у меня кружится голова...

Пораженно улыбаясь, она заглянула мне в глаза, чтобы снова проникнуть в них, привлечь мое внимание, дать мне понять, что нас вот-вот поглотит нечто ужасное, чего она так боялась и от чего бежала. Думаю, именно это я понял из ее вопрошающего, усталого взгляда, который словно молил о покое и уединении. Однако в дальнейшем она ничего не могла вспомнить. Сколько раз я потом расспрашивал ее, терзаясь неутолимой жадью, чтобы узнать, понять, определить ту уникальную минуту, когда все свершилось! Но нет, она ничего не помнила. Просто недоуменно смотрела на меня, пытаясь прийти в себя. На самом деле, она очень боялась любви, и наша с ней неожиданная встреча ее напугала. В этом она призналась мне на следующий день.

— Хорошо подумай над тем, что делаешь, — сказала она тогда. — Хорошенько подумай...

Однако в тот вечер, придя в себя после пьянящего танца, она заговорила о совершенно незначительных вещах, будто пытаюсь как можно тщательнее замаскировать пустяками это чудесное событие. Она рассказала, зачем вернулась сюда из Германии несколько месяцев тому назад. (О цели поездки туда я догадался уже потом, когда она упомянула про свою большую любовь, от которой она с трудом оправилась.) Друзей в Бухаресте у нее почти не было. Тогда я узнал, что она родилась в приграничном городке, а жила только со своими тетками, и понял, почему при первом же взгляде на нее меня удивило полное отсутствие жеманства. Именно этим она отличалась от столичных женщин, которые при всей своей красоте так много кривляются. О себе она рассказывала весьма осмотрительно, но я почувствовал, какая нераскрытая способность к исповеди таилась в ее сердце.

Говорят, есть женщины, при встрече с которыми сразу понимаешь, что они скрывают в себе великую, истинную тайну, без какого-то там боваризма. И также говорят, что есть женщины, душу которых можно прочитывать за один миг — она чистая и светлая, как вода горного озера. Возможно, все это так. Но в те часы меня захватило предчувствие, что у Иляны есть безграничная способность раскрывать свою душу. Что она одна из тех, кого можно узнать, просто выслушав, потому что она расскажет о себе все... Конечно, во многом я оказался прав. У этой женщины не было от меня секретов, и в течение нашей любовной истории она больше страдала от моих нераскрытых тайн. Она рассказывала мне без утайки все, что знала... Но как мало она знала о себе по сравнению со всем, что таилось в ней — в ее теле и сердце, во всем ее существе...

Тогда она спросила опять, уже серьезно, о моих книгах. Но быстро оборвала беседу, словно почувствовала, что эти общественные дела слишком меня отстраня-

ют. Сказала только, что ей нравятся книги о детстве, об интернатах и пансионах со строгими правилами. Быть может, они напоминали ей о ее собственном детстве, угрюмом, сиротливом, когда она была вынуждена проводить каникулы в огромном холодном особняке, под суровым надзором бабки и теток. В этом доме даже бабушка скупилась на ласку... Вспоминаю, как той весной, разузнав о ней побольше, я захотел провести пасхальные праздники в ее родном городе. Ее семья давно распалась. Немногие родственники, выжившие в провинциальных дырах, о ней позабыли.

Мне хотелось гулять вместе с ней каждое утро в парке неподалеку от родительского дома, сидеть вдвоем на скамейке, осыпать ее нежностями со всем жаром, на который я был способен, будто вымаливая прощение за все безрадостные детские годы, за холодную пустоту, из которой произрастала ее грусть. Как бы я был счастлив заполнить своим присутствием и ребячествами эти ее тягостные дни, эти унылые вечера в захолустье, которые моя Ильяна проводила, часами не отлипая от окна... Я верил в то, что для нас прошлое не потеряно окончательно — по крайней мере, оно не потеряно для любви. И надеялся, что смогу проникнуть в этот мрак, наполнить его теплом. Но Ильяна упорно отказывалась посещать места своего детства. Иногда она спрашивала про какую-то фамилию из ее городка, улыбалась одними глазами — и все...

...В тот вечер мы больше не танцевали. Она жаловалась на головную боль и боялась, что ей станет хуже. Почти все время мы провели за беседой. Затем, в час ночи, она мельком глянула на часы и засобиравалась домой. Почти никто из гостей еще не ушел. Хозяйка попыталась удержать ее и пустила в ход все уловки: спрятала верхнюю одежду, подменила ботики. Но в конце концов пришлось ее отпустить. Меня они не осмелились удерживать, однако Ильяна покраснела, когда я попросил позволения ее прово-

дить. Мы ушли вдвоем почти что тайком. Пальто я надел только на лестнице — его мне вынесла прислуга...

Я оставил ее перед зеркалом. Когда я вернулся, передо мной стояла как будто другая, незнакомая мне женщина. Она надела длинную шубу и черную шляпку с вуалью. Я изумленно ее разглядывал. Не потому, что не узнал элегантный столичный стиль, а потому, что вуаль совершенно преобразила ее лицо, сделала его еще более юным и в то же время более женственным, соблазнительным. Может, я криво выражаюсь; на деле образ был еще более многогранным — эта женщина теперь выглядела именно как любовница, ее затененное лицо было исполнено чарующей неги. Она словно призывала защищать ее, ласкать, целовать... Я стоял перед ней замороженный и наверняка глупо улыбался, потому что Иляна вдруг отвела взгляд и взяла меня под руку.

Мы молча спустились по лестнице. Я не знал, что будет дальше. Я даже не знал, что я сейчас ей скажу. На улице было морозно, холод обжег нам лица, и я очнулся. Была та самая бухарестская зимняя ночь: безлюдная, прозрачная, льдисто-стеклянная. Перед домом стояло несколько машин такси; шоферы дремали, поджидая пассажиров. Лязг железных ворот их разбудил, и они принялись нам сигналить. Я хотел было пройти чуть вперед и помочь ей сесть в машину, но Иляна удержала меня.

— Давай лучше немного прогуляемся...

Неужели она испытывала передо мной такой страх, что пыталась отрезвить меня прогулкой по холоду? Не знаю. Ее голос звучал как-то смятенно, подавленно. Мы пошли вниз по улице, и я крепко держал ее под руку. Поразительно, насколько ясно я слышал аромат ее духов в чистом морозном воздухе. Она то и дело поднимала голову, и тогда обрисовывался ее рот — губы испуганно подрагивали, будто от незримого касания, будто в предчувствии внезапного поцелуя. Я спросил, где она живет.

— Мы туда и идем... — ответила она шепотом.

Но она была отстраненной. Она думала о чем-то серьезном, невероятно важном, и я почти что физически ощущал, насколько она далеко от меня. Нет, она не задавалась вопросом о том, будет ли с ее стороны постыдно отдаться мне в эту ночь, следует ли соблности определенных предварительные ритуалы или нет. Мысли уводили ее совсем в иные сферы. Я чувствовал, что заговори я с ней, она бы вряд ли меня услышала. И меня томило ее молчание, ее внезапно отчуждение. Возможно, будь наш путь дольше, моя гордость не перенесла бы такого, пусть и легкого, унижения. Думаю, даже в эти последние минуты ясности перед мороком я мог бы сбежать. Что, если бы, например, видя, как она рассеянно опирается на мою руку и идет тихо, будто прислушиваясь к скрипу подмерзшего снега под ногами, я вдруг произнес какую-нибудь пошлость, попытался бы ее поцеловать или закурил бы непринужденно папиросу, как я обычно делаю, когда один? Или принялся бы насвистывать модный романс, небрежно спросив, как ей?

Несомненно, чары бы развеялись, и мы бы снова стали двумя незнакомцами, двумя молодыми людьми, которые возвращаются ночью домой, не унося с собой ничего, кроме смутного воспоминания о приятном совместном вечере. А вернувшись так резко к тому, что зовется «реальностью», я бы попытался уберечь себя от нового возможного увлечения, думая, как бы быстрее затащить ее в постель. До того момента я привык бороться, пошло — как все величайшие эгоисты — с тем, что я называл «сентиментальной заразой». Как знать, сколько раз я был в шаге от любви, когда моя жизнь могла бы разом измениться, перевернутая великим событием? Но в самый последний момент я останавливался и превращал всепоглощающую страсть в мимолетную интрижку. А, может, я сейчас говорю глупости. Может,

даже если бы я тогда пришел в себя, все равно было бы уже слишком поздно. Я уже не мог спастись. Мы с ней встретились — это уже произошло...

Наверное, прошло совсем немного времени, потому что моей гордости не удалось меня омрачить. Ильяна встрепенулась и тихонько прильнула ко мне, будто очнувшись ото сна.

— Прости, — шепнула она, скользя рассеянным взглядом по заснеженной улице.

Я почему-то надеялся, что она скажет что-то еще, хотя бы объяснится. Но она снова замолчала. Мы уже вышли на бульвар Таке Ионеску, и ослепительные огни фонарей резали меня по глазам, как будто в своей яркости они хотели поспорить с белизной сугробов. Я шел с ощущением, что вступаю в новое пространство, где наша с ней близость стала еще более определенной благодаря прохожим, машинам и красочной рекламе. Вся эта внешняя жизнь сблизила нас еще больше. Путь по слабо освещенным улицам теперь приобрел тайный смысл, будто мы возвращались со свидания, на котором могли вволю нацеловаться и шептать друг другу о любви.

— Так где ты живешь? — повторил я нерешительно.

Она назвала недавно построенный дом на бульваре Брэтиану. До него оставалось совсем немного. Я безотчетно прибавил шаг. Но я еще не знал, что будет дальше. Не знал, осмелюсь ли я попросить разрешения проводить ее до квартиры, будет ли мне это позволено. Однако я шел без волнения, без какого-то чувственного трепета. Просто ждал, что что-то произойдет. Я предчувствовал, насколько значимо для меня это грядущее событие, но был не в силах вмешаться, ни ускорить, ни отворотить его.

Я взглянул на нее вблизи. Щеки слегка покраснелись от мороза, и широкая улыбка играла на ее губах. Она улыбалась с едва уловимой грустью; видимо, догадалась, что я ускорил шаг. Мы перекинулись еще парой незначи-

тельных фраз. О том, как она приехала в Бухарест ранней осенью и как нашла себе небольшую квартиру, отыскала несколько проверенных друзей, а остального общества избегает. Я рассмеялся.

— Может, ты избегаешь новых знакомств и друзей, — произнес я с пошловатой иронией.

— Да, так и есть, — признала она хладнокровно. — По большей части их приходится избегать...

Дом ее был уже близко, а я все еще не знал, что сейчас произойдет. И все же я спросил позволения навесить ее. Она ответила просто:

— Если хочешь, приходи завтра на чай.

— Я принесу тебе свою последнюю книгу, — сказал я, будто спеша пояснить, что у меня нет никаких задних мыслей.

— Буду очень признательна...

Мы пришли. Я со страхом ожидал увидеть консьержа, который отпер бы дверь и провел бы нас в лифт. Но двери были открыты. Я молча подтолкнул ее, содрогаюсь от волнения.

— Мне на третий, — сказала она.

— Я могу проводить тебя? — пролепетал я.

Свет в лифте озарил нам лица. Я смущенно рассматривал ее заново. Взгляд у нее был задумчивым, она тщетно пыталась улыбнуться. Перед дверью она протянула мне руку. Ухватив ее, я прижался к ней в поцелуе. А вслед за этим безудержно, безотчетно обхватил ее за виски и поцеловал в губы, чувствуя, как она тает в моих объятьях...